



В. Н. ИЛЬИН

Салтыков-Щедрин — Свифт и Гришка Кутерьма русской литературы (1826–1889)

Талант Салтыкова, литературное имя которого — «Щедрин», был громаден и в известном, темно-жутком смысле это был типично русский талант, — но он никогда не смог подняться до высот подлинной гениальности по той простой причине, что он был злодей и матерубийца. А «гений и злодейство — две вещи несовместные». Но природная его одаренность могла бы превратить его в гения. Во всяком случае, в лагере «светлых личностей», где он был в гораздо большей степени, чем даже Белинский, «служакой исправным» и унтером Пришибеевым, Угрюм-Бурчеевым — «былым прохвостом», он — явление единственное и абсолютно ни с кем не сравнимое, — уже по причине сплошной бездарности этого лагеря.

Этим и объясняется то, что часть этого лагеря — наиболее, так сказать, «напостовская» — не захотела признать его вполне «своим». В этом смысле очень показателен отзыв о Салтыкове-Щедрине Писарева, который, презрев мрачное и грандиозное художество русского Свифта, посоветовал ему заняться... популяризацией естествознания. Это в устах шестидесятника должно было означать журналистически-публицистическую пропаганду топорного материализма.

Конечно, можно возразить, что Писарев — глупец и психопат, сумасшедший эксгибиционист, сидевший в психиатрической лечебнице «шизофреник» (тогда, впрочем, еще этих тонкостей в психиатрии не знали), который если бы и не утонул на 28 году своей жизни в струях Западной Двины — все равно сгнил бы в сумасшедшем доме наподобие Ткачева, помешавшись, например, на том, что у него «стеклянный живот и что там завелись блохи». Это ведь случилось с известным основателем «пролетарской философии» идиотского «Эмпириоминизма» Богдановым (слишком правым, по мнению

Ленина). Да, но не в этом дело, а в том, что по сей день для «них» Писарев — «отец красной церкви» и, стало быть, его приговоры — беспапелляционны, никакой ревизии не подлежат.

Поэтому, именно в силу своего подлинного таланта, Салтыков-Щедрин был «ими» признан только наполовину.

«Как матерой волк наелся он русской крови и сытый отвалился в могилу», — остро говорит на своем единственном в русской литературе языке В. В. Розанов. Великий метафизик религии верно выразил очень существенную сторону Салтыкова-Щедрина, ведь тот в конце концов силами своего свифтовского дара убедил-таки огромное множество образованных русских людей и шедшего у них на поводу бессмысленного стада, что их мать — «всего только потаскушка», которую «надо удавить на грязной веревке». Мы опять здесь приводим слова В. В. Розанова, ибо сильнее об этом все же никто еще не выразился.

Трудно себе представить более любовно-снисходительное отношение, чем то, с которым отнеслась старая и вечная Россия к своему ругателю, убийце и отравителю. Она для него сделала все, что можно было сделать — до вице-губернаторского звания и колоссального жалования в 3 000 золотых рублей в год. Только когда уж слишком сильной и невыносимой становилась боль от ядовитых укусов жуткого пасквилянта, в котором она по странной идиосинкразии продолжала видеть сына, она пыталась дрожащей рукой, но безуспешно, отстранить новый укус... Объяснить такое самоубийственное поведение можно лишь с большим трудом и искусственно евангельским непротивлением... Впрочем, было несомненно и это. Но нет сомнения в том, что было уже и ослабление инстинкта самосохранения, — патологический результат ядовитых укусов писателя-вампира... Несчастливая Россия, несчастная обезумевшая страждущая Мать...

Конечно, может возникнуть очень жестокая и «трудная» во всех смыслах тема о полной *трансформации-мутации* на почве революционного яда. Тема эта, повторяем, в высшей степени трудная и жестокая, хотя и вполне реальная, а с точки зрения философско-морфологической — очень интересная. К ней мы вернемся в очерке, который предполагаем посвятить внутреннему и внешнему руссофобству, в связи с комплексом пораженчества и матерубийства. Там нам придется еще раз вернуться к теме Салтыкова-Щедрина, хотя и в другом контексте, в другом ракурсе и обрамлении. Теперь же перейдем к литературно-метафизической проблеме и теме Салтыкова-Щедрина.

Трудно себе представить карьеру во всех смыслах более удачливую — и в известном смысле более соблазнительную — именно вследствие картины вполне окупившегося злодеяния, где нельзя не вспомнить слов Алексея Константиновича Толстого:

Он спины вам будет бить батожьем,
А вы ему стукать да стукать челом, —
Ой сраму, ой горького сраму¹.

Стукали челом матереубийце Салтыкову-Щедрину решительно все: царское правительство, которое под видом бутафорской ссылки устроило ему блестящую служебную карьеру с непрерывными повышениями до вице-губернаторского поста со всеми наградами включительно; стукала от лица русского народа решительно вся интеллигенция за исключением тех нигилистов, вроде Писарева, которым была ненавистна громадная одаренность матереубийцы; теперь начинают стукать иностранцы, догадавшиеся, что Салтыков-Щедрин такой же их верный союзник как Желябов, Каляев, Белобородов, Войков, Ленин, Сталин, Дзержинский («гроза русской буржуазии», по выражению Эдди Шервуда)².

Самое интересное здесь то, что возглавители СССР, непревзойденные мастера лжи, клеветы («святой лжи» по их собственному признанию), всевозможного рода мистификаций, — всегда умалчивают о головокружительной карьере Щедрина и, при помощи всякого рода передергиваний, недоговариваний, истерической жестикуляции и прочих хорошо известных, но не особенно эстетических приемов, создали из его биографии такой туман и такие дебри, что у читателя может создаться впечатление о каком-то «мученике кровавого царизма». А между тем он такой же мученик, как позорной памяти комсомольский гадёныш «Павлик» Морозов, который донес красным властям, что его мать в годы палаческого «раскулачивания» стригла ножницами по ночам колосья на ниве. И это для того, чтобы накормить своего сына, который на нее же донес!

Родословная Салтыкова-Щедрина весьма аристократическая, но его линия — вполне замаранная. Это те Салтыковы, которые продавались в эпоху Смутного времени полякам, заморили патриарха Гермогена голодом, осаждали вместе с Сапегою и Лисовским Троице-Сергиевскую Лавру — словом, всюю отрекомендовали себя...³ Традиция во всяком случае нехорошая, хотя и очень стильная для красных... Здесь властителям СССР приходится глупо и смешно выкручиваться: одновременно хвалить Смутное время и ругать его

деятелей... под видом «интервентов». Поэтому им неизвестно, что делать с боярами-изменниками... и хочется лизнуть сапог предателям в стиле Ленина и Покровского... и жжется... и «маменька не велит».

Наш аристократ родился в родовом тверском имении «Спас-Угол». Если бы не мать писателя, рожд. Забелина, — все бы пошло бесхозяйственным прахом. Она сделала все, что могла, чтобы спасти имение, а вместе с тем и весь род от разорения. За это и попало же ей в разных сатирах сынка — до «Господ Головлевых» включительно. Кого-кого, но мать он осрамил навсегда за ее хозяйственность — смертный грех с точки зрения «светлых личностей». Мать-«кулак»? — Бей мать смертным боем, делайся предтечей «Павлика» Морозова. Опозоренная мать сделала все, что могла, чтобы дать своему сыну перwokлассное образование и светский лоск. С этим лоском сатирик никогда не расставался и этим очень поддерживал престиж «красных» и их высшего начальства, до которого, как выражается Достоевский, «было невероятно высоко». Таким образом, Салтыков-Щедрин кладет начало новой «красной» аристократии, среди которой есть и титулованная знать. Это вроде князей Телятевского и Шаховского в Смутное время, или Геца фон Берлихингена⁴ в Германии в тревожную эпоху крестьянской войны (1525). Правда, цена получения такого рода привилегий была очень высока, чрезмерно высока — надо подавить в себе все признаки человеческого достоинства и поклониться тому, что мы как-то назвали в стиле Пикассо — «ноздрей на пятке», — например, самому Демьяну Бедному — и мало еще кому. Во времена Салтыкова-Щедрина это означало хулу на Пушкина, Лермонтова, Фета, Тютчева, Толстого, Достоевского и принятие Писарева, Добролюбова, Чернышевского, Варф. Зайцева, Минаева, Курочкина... Сюда же надо включить бешеную радость по поводу неудач Крымской войны. Мы еще вернемся к этой теме. Литературные помои, выливаемые на всю Россию с ее Историей, Культурой, Религией, то, что Достоевский назвал «плеванием в свою колыбель»⁵, все это относится сюда же.

Словом, цена большая, но что поделаешь? Дорого да мило!

Цену включения в красный процесс древнего аристократа Салтыкова можно еще определить так: да не будет у тебя ничего святого, заключи союз с «адам всесмехливым»!

Так родилась «сатира» Салтыкова, превратившая его в Щедрина и красного аристократа. Сам писатель свидетельствует о том, как уже в ранней юности он презрел и осмеял красоту и поэзию, как стал «иконоборцем» по Писареву, простив ему насмешки над собственным талантом. Тут пригодилась и идея всепрощения — в таком, впрочем,

ее видоизменении, которое словами Достоевского можно выразить так: «одному смирись, а другому гордись»...

Итак, граф⁶ Салтыков-Щедрин сделался «князем» на таком прище, до которого было «невероятно далеко» и откуда «управляли всем движением». Оттуда же раздавались приказы о разделении и уничтожении России, о восстановлении Польши по Днепр, о том, что Пушкин — вредное ничтожество, «Анна Каренина» — «коровий роман» и проч. и проч. Здесь — заискивающее лакейское скаканье в припрыжку «петушком» вслед за «Делом» Ткачева — параноика, скоро севшего в Париже в убежище Св. Анны для умалишенных. Гораздо легче было, повторяем, получить аудиенцию у Царя, охранявшего Россию и ее культуру, чем у красного графа (он же и «белый вице-губернатор» — на двух стульях сидеть иногда можно очень удобно и прочно). Ведь граф этот заправлял уничтожением России, и престиж его должен был быть и оставаться по сей день особенно гигантским.

Дрянные неуклюжие стишищи, которые он все же пытался сочинять в молодости, стяжали ему среди его смиренных и мало смысливших в поэзии сверстников по лицу славу «второго Пушкина». Но сам «второй Пушкин» внутренне знал, что он как поэт «ниже нуля» (по выражению Ходасевича) и поэтому озлился невероятно. У него есть целые сатиры, посвященные издевательствам над поэзией и поэтическим творчеством. Словом, в который раз повторилась история лисицы и винограда...

По своему обыкновению, красный граф расплатился со своими обожателями-лицеистами — оплевал их в сатире в качестве «Ташкентцев приготовительного класса». Лицейские связи дали впоследствии возможность Салтыкову выступить в «Отечественных записках», где он, распростившись раз навсегда с поэзией, сдружился с прозой, и притом в духе самом «прозаическом» — начал высмеивать кого и что попало, в том числе и социалистические увлечения — «фурьеризм» своих лицейских друзей-петрашевцев. Впоследствии он значительно дисциплинировался — и стрел в красный лагерь больше не метал: Россия и без того представляла более чем обширную цель.

Наступили «рудинские» годы восстания и подавления «Национальных Мастерских» в Париже — этой попытки осуществления фурьеризма в государственном масштабе. Это были годы «Коммунистического манифеста» Маркса—Энгельса (1848–1849). Свирепая «кавеньяковщина» докатилась и до России в виде более или менее нелепых цензурных, никогда не попадавших в настоящую цель стеснений и в виде полицейских мероприятий, более или менее хао-

тических, судорожных и лишенных всякой планомерности, только раздражавших людей благонамеренных и вызывавших злорадство в субверсивных кругах.

Это были и годы начала блестящей служебной карьеры Салтыкова-Щедрина, «сосланного», как и Герцен, на («чернильную») «ссылку», настолько почетную, рентабельную и комфортабельную, что остается только разводить руками. Местом ссылки был все тот же вятский север, где впоследствии так комфортабельно «томились» и другие русские социалисты и коммунисты — а среди них и Н. А. Бердяев.

Во мгновение ока Салтыков-Щедрин делается «чиновником особых поручений» (да еще старшим) при местном губернаторе. Никто его не стеснял, и в своих служебных мероприятиях он «либеральничал» всю... Одним словом — «кровавый царизм»...

Поэтому постоянные жалобы и старушечье хныканье Салтыкова-Щедрина по поводу «преследований» и разные страшные слова, с этими мнимыми «преследованиями» связанные, нужно рассматривать как простую симуляцию, соединенную с желанием навредить — и притом как можно больше — своим благодетелям. Что же касается цензурных стеснений, то если и был кто-нибудь, кто их заслужил в полной мере, так это именно Салтыков-Щедрин. Но ослабевавшее и размагнитившееся Государство Российское теряло вкус к властвованию и не могло, конечно, принять надлежащих мер ни против революции, ни против революционной печати. Вред от чудовищных пасквилей и издевательств Салтыкова-Щедрина, например, по поводу освобождения крестьян, земских учреждений, новых судов — дивных, гуманных судов, — постоянное стремление доказать или, вернее, показать, что бескровным и эволюционным путем ничего нельзя добиться, пока глупый, никуда не годный и рабий народ не пойдет на революционный взрыв и новую пугачевщину и всероссийскую резню, которая, несомненно, была для красных не средством, а целью, словом — систематическое дразнение общественной воли, систематическая провокация, столь хорошо изображенная в «Бесах» Достоевского, мстительность и жажда крови превращали «сатиры» Салтыкова-Щедрина, именно благодаря их «свифтовской» силе, в прямое орудие взрыва. И в конце концов этот самоубийственный взрыв, правда с некоторым запозданием, получился, погубив и правых и виноватых. Да и кто не был виноват у Салтыкова-Щедрина? Только редакционная коллегия «Современника» и «Отечественных записок», да партийцы динамитчики и «пистолеросы»... Когда в одном лице соединяются два таких страшных и злых бесовских персонажа, как Свифт и Гришка Кутерьма⁷, то, можно сказать, успех

обеспечен — немного раньше, немного позже. Отсюда судорожное метание властей вокруг Салтыкова-Щедрина. Не смея поднять руки на такой большой литературный талант и всячески покровительствуя ему по службе, власти могли делать только одно: от времени до времени повторять жест губернаторского канцеляриста Блюма (из «Бесов» Достоевского) и вывозить на тачке из загаженного русского дома все наиболее смрадное, уродливое и враждебное. Но мерзость редко замечалась властями предрержащими, ослепшими настолько, что они ссорились с теми, с кем надо было поддерживать мирные отношения, и обратно — всячески мирволили тем, кого следовало пригвоздить... Опять-таки здесь все происходило по Достоевскому — «правительство махало дубиной в темноте и било по своим», да кроме того, принимало за «своих» жалких бездарностей, обскурантов и святош... тем подливая еще более масла в огонь сатиры.

Словом, правительственный либерализм взрастил в лице Салтыкова-Щедрина художника огромной силы и еще больших разрушительных способностей. Любопытно, что злое художество («злохудожество» и «цветы языкоблудного красноречия») читали и поощряли отнюдь не только профессиональные революционеры, которые и понять не могли по своей некультурности размеров дара Щедрина, — дара, который был им, собственно, не нужен, даже вреден, как об этом и заявили Писарев, а потом Михайловский. Дарованием Щедрина наслаждалась вся интеллигентная и смыслившая толк в художестве Россия. Но эти наслаждения оказались чрезвычайно вредоносными. Они выкорчевали всякую любовь к своему народу, к своей истории и культуре, превратив все в собрание отвратительных мерзостей — гораздо хуже гоголевских — и без всякого просвета впереди.

Эти «сатиры», а в действительности — пасквили — подорвали в русском образованном классе всякую веру в будущее своей страны и заразили его слабостью воли и вялостью чувств. Но «красным» только это и надо было: они нуждались единственно в хорошо поставленной проповеди отчаяния и непротивления. Отчаяние говорило о том, что защищать *ничего*, а вялость чувств и воли подсказывала ложь о том, что защищать и защищаться — незачем, беспечно. Смердяков сожалел о том, что Наполеон не завоевал Россию, — в случае этого завоевания «умный народ покорил бы глупый» и все пошло бы по «образованному»: «по улицам ходили бы одни французы», как снится чеховскому «Умному дворнику»; а глупый бы народ — исчез неизвестно куда. Что душа Салтыкова-Щедрина была смердяковская, а дух его — Свифта и Гришки Кутерьмы вместе взятых — в этом нет никакого сомнения. Если мыслить категориями

образов «Града Китежа», то татарве рассеяться надлежит от звона невидимого Града, ушедшего под покров чудной Девы, от действия Ее же кроткого всемогущества должны прекратиться и корчи Гришки с его наговорами и ложью...

Устройство своей карьеры Салтыков-Щедрин завершил породнившись с вятским вице-губернатором: он женился на его дочери, красивой, состоятельной, образованной.

Как и следовало ожидать, благодаря имп. Александру Второму, которого «гришки» заклевали и убили, Салтыков-Щедрин вернулся — и успехи по службе вместе с разрушением средствами «языкоблудного красноречия» того государства и той культуры, которые так лелеяли убийцу и пасквилянта, пошли еще блистательнее. Здесь, действительно, нужно было обладать ловкостью рук красных писак и их нравственной оголенностью, чтобы продолжать дело всероссийского развала, нежась в креслах Рязанского (на этот раз) вице-губернатора и литературного владыки — лже-мученика... Хорош «мученик»! Не к нему ли со всею силой относятся знаменитые слова Островского:

«Кто тебя, батюшка, обидит? Сам ты всех обидишь!..»

И Салтыков продолжает свои пасквили и обиды со все возрастающей яростью, служившей для него, можно сказать, хлебом насущным. Пасквилянт делается председателем Казенной палаты — сначала в Пензе, потом в Туле.

Отъевшись на обильнейших казенных хлебах, Салтыков выходит в отставку в 1868 году и, будучи еще в расцвете сил и таланта, 42 лет от роду, окончательно уходит в журналистику — ибо все же его писания — это собственно не литература, а самая злая, клеветническая публицистика в образах. И ум его — ум продавшегося черни аристократа «Филиппа Эгалитэ»... Но он и был «гильотинирован» тем, чего и не заметил во всю свою жизнь: *публицистика заела и уничтожила у него почти до тла подлинное художество*. Воистину на нем тяготело проклятие, которое наложили на себя «светлые личности», раз навсегда «по демьянбедновски» сказавшие: «Пара сапог выше Шекспира». Вот и получился из него тяжелый, все примявший и притоптавший сапог.

Аппетит приходит с едой. Сатира в розницу, наконец, надоела красному графу-вицегубернатору. Превратившись, так сказать, в «вице-писаку», он решил убить оптом ненавистную Родину Мать и пишет «Историю города Глупова» (то есть России). Здесь он оставляет гравировальную иглу, которой хотя мало и слабо, но все же пользовался. Он просто набросился на все еще живую Мать и стал,

как настоящий представитель русского бунта, «бессмысленного и беспощадного», бить и топтать свою жертву ногами, «мозжить» ей голову поленом и чем попало.

Остальное dokonчили Покровский, Рожков и Демьян Бедный... вместе с экипаж Ягод, Дзержинских, Ежовых, Петерсов⁸...

«История города Глухова» вещь не только литературно слабая, но, не говоря уже о гнусности основного намерения, вдобавок к этому еще и несамостоятельная. Нет никакого сомнения в том, что здесь он пытается подражать никому другому как Пушкину в его «Истории села Горюхина». Но едкость и тонкость Пушкина превратились у него в грубую мазню... Не Щедрину подражать Пушкину, да еще пародируя его, т. е. пародируя пародию...

Он становится после Некрасова редактором «Отечественных записок», шлифуя их красный лоск, а то и просто ляпая малярной кистью плохую красную краску. Была и заграничная поездка — но она ничего не дала отупевшему в публицистике русскому Свифту.

Только перед самым концом в нем заговорила художественная совесть (иной у него не было, да и эта чуть не погибла окончательно). Он пишет две вещи большого художественного и тем самым морально-религиозного значения: мрачно трагических «Господ Головлевых» и невыносимо тяжелую и тоскливую «Пошехонскую старину». Для тех, которые, как мы в настоящих очерках, больше всего заняты богословско-метафизической тематикой, на первом месте должны стоять «Господа Головлевы» — один из лучших русских романов, тема которого — *удавшееся покаяние* человека, казалось бы вполне и окончательно погибшего, — Иудушки Головлева. Таким образом, когда «Русский Свифт» захотел, то наконец стал настоящим художником, для чего предпосылки у него имелись в изобилии — и, почти невольно, вошел в вечное русло русской национальной литературы.

Роман «Господа Головлевы» очень сложен, прихотлив, со множеством лиц и мотивов — один другого мрачнее и безотраднее. Но именно потому, что автор не побоялся идти действительно «до конца» — для него все же вспыхнул свет. Несомненно, как для русского художника и, может быть, как и для человека сокровенной глубины, ему, наконец, открылся Тот, Кто сказал о Себе: «Я есмь путь, истина и жизнь».

Вопреки тому, что думают некоторые историки литературы, служащие сразу двум господам — истине и лжи, Богу и маммоне, Салтыков был *только* насмешником, трагиком же он стал «поневоле» — в «Господах Головлевых» и в «Пошехонской старине». Не только он не был никогда патриотом, не только никогда России

не любил, но сделал все, чтобы оклеветать, очернить, изобразить Россию и ее народ от верхов до низов в самом отвратительном, *ничего кроме убийственной ненависти не заслуживающем виде*. Вот почему, не напиши он финала «Господ Головлевых», он заслужил бы осинового кола в свою могилу.

Дар есть нечто от нас независящее — и не тщетно синоптические Евангелия буквально переполнены тем, что можно назвать «темой дара и таланта». Но *по сей день нигде в христианской письменности, среди более или менее удачных или неудачных (в большинстве случаев неудачных) попыток написать христианскую философию, нет и признака того, что можно было бы назвать «метафизикой дара таланта и проблематикой благодати дара»*. Здесь христиане-писатели (вернее, лица пишущие на христианские темы) обнаруживают жалкую и малопочтенную трусость мысли, и не только это, но еще и самый недвусмысленный обскурантизм, то, что можно вслед Тютчеву назвать «юродством без душеспасения». Такой подход можно сравнить только с постоянным стремлением видеть в любви или пассивное непротивление злу, или блуд (если речь идет об эротической любви). В крайнем случае, под любовью разумеют сострадание и скуку регулярного брака, так наз. «ложе нескверное». И надо было ждать появления книги проф. Евдокимова⁹, «открывшего в браке любовь» и оправдавшего с христианской точки зрения эротику. Но до сих пор нет книги о тех, кто «вперил в науки ум алчущий познаний», или в ком «Сам Бог возбudit жар к искусствам творческим, высоким и прекрасным»...

Кажется, лишь один Н. А. Бердяев со своими великолепными книгами и статьями о творчестве составляет исключение. Но ведь и Н. А. Бердяеву, чтобы написать метафизику дара и таланта, пришлось предварительно порвать всякие связи с общепринятыми на этот счет мнениями и превратиться чуть ли не в отщепенца и «еретика», хотя здесь нет ни признака чего-либо подобного. И это уже потому, что никто до него среди христианских писателей не интересовался проблемой дара — таланта и метафизикой творчества.

Конечно, и Салтыков-Щедрин в качестве исправного жандарма революции был гонителем творчества. Но он был сам одарен очень большими творческими возможностями — к величайшему негодованию Писарева и его товарищей. И вот, пусть в конце, но дар его прорвался как-то сразу, и притом, о ужас, — прямо в богословие! Ибо финал «Господ Головлевых» — несомненно богословский... да еще в какой степени!

«Днесь Каиафа неволею пророчествует...»

Итак, когда Салтыков-Щедрин захотел дать беспрепятственный ход своему дару и не ограничивать его ничем и никакими посторонними искусствау соображениями, дать дышать ему полной грудью, на путях этого свободного развития и парения возникла тема «вечного и бесконечного», т. е. нечто совершенно *«иное»* сравнительно не только с красной помойкой, но иное в абсолютном смысле слова.

Изложение действия, свободное развитие трагедии доводят главного героя романа Иудушку Головлева к противоречию с самим собой. Это, конечно, соответствует законам диалектики, и если бы «светлые личности» мыслили честно, то пенять им за такие неприятные для них результаты честной диалектики не следовало бы. Всем известно, что этим рабым душам, склоняющимся перед тенденцией, нельзя и думать о «дали свободного романа» и о его «магическом кристалле»...

Влача по прихоти народной
В грязи низкопоклонный стих,
Ты слова гордого «свобода»
Ни разу сердцем не постиг!¹⁰

И добро бы еще это была «прихоть народная». Но нет — это настоящий истребительный заговор против этого самого народа — но от имени народа и якобы «за народ»...

«Скандал» для «светлых личностей», взрыв их собственной бомбы в их собственном застенке и в их собственной среде все же происходит на последних страницах этого удивительного романа Салтыкова-Щедрина.

Начинается роман вполне «по-щедрински» и как будто с «благими» — т. е. красными — намерениями оплевать русское помещичье дворянство, показав его моральную негодность, творческую бездарность и полное вырождение. Во всем романе нет ни одной вызывающей симпатии фигуры. И только две внучки Арины Петровны Головлевой, Аннинька и Любинька, вызывают болезненное сострадание своей гибелью между жерновами современного Вавилона, который автор постарался сделать особенно отвратительным, именно по той причине, что это Вавилон, говорящий на русском языке...

Центральное лицо романа — сын Арины Петровны Головлевой, Порфирий Владимырьч, — он же «Иудушка-Кровопивушка» по прозвищу — апогей дрянности и нравственной негодности. Последняя еще более «выпячивается» оттого, что в характере этого уroda преобладающая черта — непомерное ханжество и лицемерие.

Но именно тут-то и провалилась «тенденция» автора и верх взяла художественно-метафизическая правда. Не правдивость автора, нет — Салтыков остается верен самому себе до конца, — но именно сама объективная правда, независимая от автора. И уже не он ведет повествование, но она. Автор же «волей или неволей»,

Но должен вещать,
Что слышит подвластное ухо.

Эта объективная, несомненно «теономная» правда, Божия правда, как бы говорит: такого монстра, вообще говоря, нет, он выдуман автором для целей надругательства над религией, в частности над православием, над мистикой, над «умной молитвой», с целью показать, что за всем этим — зияющая пустота, или же мерзость запустенья, что ничуть не лучше, а даже хуже: искажение, порча доброго есть худшее (*corruptio boni pessima est*). Но если бы, паче чаяния и в силу особой тренировки в святошеском пустословии и лицемерии, такой монстр появился в действительности, то он не выдержал бы своей собственной монструозности — умер бы или покаялся бы. По замыслу автора, очень убедительному, он кается и умирает, вернее, казнит себя самой жестокой формой самосуда и как бы говорит: таков, каков я есть, я не могу и не смею осквернять землю своим присутствием...

Любопытно, что никто из русских «светлых личностей» никогда не смог прийти к такому самоосуждению...

Спротивление человеческого начала Порфирия Головлева («Иудушки-Кровопивушки») всем мерзостям, унаследованным и благоприобретенным, налегшим на его душу и почти вконец ее изуродовавшим, начинается медленно, исподволь, но неуклонно и с нарастающим, непреборимым всемогуществом. И все начинается с сознания причиненных своим родным и ближним «умертвий» вследствие иссякновения духа любви и своего водворения на страшном месте мерзости запустения... Появляется жалость к замученным и ужас перед собственной монструозностью, перед собственным богомерзким уродством.

Раз начавшись, эта благотворная для вечности, но очень тяжкая во временном плане внутренняя работа духа уже не может остановиться.

И не погибнет то, что раз в душе зажглось!

Дух покаяния и осознания своей мерзости ведет Порфирия Головлева на спасительную Голгофу, на могилу матери, не выдержавшей

умертвий, нанесенных ей Иудушкой-Кровопивушкой, несмотря на всю свою жестокость и «окамененное нечувствие», в свою очередь не выдержавшее испытания перед ужасом надвигающегося конца и последнего суда, который «совсем не то», что думают ханжи и лицемеры. Самое поразительное, что переворот, случившийся с Порфиром Головлевым и его «погибшей» племянницей Аннинькой, связан с внезапно перед ними обоими открывшейся глубиной Страстей Господних во время чтения так наз. «Двенадцати Евангелий»...

«Каждогодно, накануне великой пятницы, он приглашал батюшку, выслушивал евангельское сказание, вздыхал, воздевал руки, стучался лбом в землю, отмечал на свече восковыми катышками число прочитанных евангелий и все-таки ровно ничего не понимал. И только теперь, когда Аннинька возбудила в нем сознание “умертвий”, он понял впервые, что в этом сказании идет речь о какой-то неслыханной неправде, совершившей свой кровавый суд над истиной...» (стр. 442).

Есть много оснований предполагать, что и сам автор этих удивительных и все нарастающих в своем трагизме строк только теперь что-то увидел сквозь зловонный туман «обличительства», согласно «незыблемым» канонам которого все в религии, особенно же в христианстве, — всего только одна пустота и суеверие...

Повторяем, более чем вероятно, что в каких-то неведомых глубинах своего много нагрешившего клеветой и «смехом неподобным» духа Салтыков-Щедрин глухо почувствовал, что Иудушка-Кровопивушка — автопортрет и что более чем когда-либо пора произнести жуткие и до сих пор непонятые до конца слова:

— Чему смеетесь? Над собой смеетесь!

И потому все более и более нарастает воля к суду над собой, к подлинному покаянию — к *«развязке»*...

Далее следуют такие страницы финального *«лизиса»* этой ужасающей трагедии, которые ставят Салтыкова-Щедрина в уровень с Достоевским и дают ему право на вход в Пантеон великой русской литературы с занятием там одного из первых мест.

Пускай страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые,
Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть¹¹.

«Что-то громадное, которое до сих пор неподвижно стояло, прикрытое непроницаемой завесой, только теперь двинулось навстречу, каждоминутно угрожая раздавить. Если б еще оно взаправду раз-

давило — это было бы самое лучшее; но ведь он живуч — пожалуй, и выползет. Нет, ждать развязки от естественного хода вещей слишком гадательно; надо самому создать развязку, чтобы покончить с непосильною смутю. Есть такая развязка, есть. Он уже с месяца приглядывается к ней, и теперь, кажется, не проминет. “В субботу приобщаться будем — надо на могилку к покойной маменьке проститься сходить!” — вдруг мелькнуло у него в голове.

— Сходим, что ли? — обратился он к Анниньке, сообщая ей вслух о своем предположении.

— Пожалуй, съездимте...

— Нет, не съездимте, а... — начал было Порфирий Владимыч и вдруг оборвал, словно сообразил, что Аннинька может помешать».

Далее развивается могучая, скорбная и прекрасная симфония пока- яния, которой, по-видимому, нет равной во всей мировой литературе. Здесь Салтыков-Щедрин «во едином часе», т. е. немедленно, тут же оправдал свой талант, данный ему Богом. Как это бывает, хотя и редко, в мировом искусстве, здесь грань художества и потусторонней великой реальности не только достигнута, но и перейдена. И чувствуешь законную гордость за этого «благоразумного разбойника»-писателя, русского Свифта, Гришку Кутерьму, который с избытком пополнил зияющие провалы и бездонные пустоты, нанесенные палачествами его «смеха неподобного». Нет больше Иудушки-Кровопивушки, нет больше убийцы своей матери и сыновей, есть покаявшийся и принятый блудный сын, прекрасный и просветленный.

«А ведь я перед покойницей маменькой... ведь я ее замучил... я, — бродило, между тем, в его мыслях, и жажда проститься с каждой минутой сильнее и сильнее разгоралась в его сердце. Но “проститься” не так, как обыкновенно прощаются, а пасть на могилу и застыть в воплях смертельной агонии» (стр. 443).

Вопрос, который он тут же предлагает Анниньке о самоубийстве Любиньки, ясно показывает, куда и в каком смысле направлены теперь мысли Порфирия Владимыча. Но мысль о страстях Господних отклоняет его от решения искупить соделанное самоубийством и пока- рать себя наложением рук.

«Он встал и несколько раз в видимом волнении прошелся взад и вперед по комнате. Наконец, подошел к Анниньке и погладил ее по голове.

— Бедная ты, бедная ты моя! — произнес он тихо.

При этом прикосновении в ней произошло что-то неожиданное. Сначала она изумилась, но постепенно лицо ее начало искажаться, искажаться, и вдруг целый поток истерических ужасных рыданий вырвался из ее груди» (стр. 444).

Совершилось чудо — и чьей рукой! Словно только ужасающий грешник по-настоящему открыл свое сердце для принятия любви Божественной, как сейчас же вместе с этой любовью пришел дар чудотворения. Но как это понять окамененным сердцам критиков-литераторов? Разве может что-либо сравниться с окаменением сердечным и мумификацией в атмосфере доктринерства и партийности, которыми эти люди отделили себя от жизни и любви?.. Скабичевский и любовь, да ведь это же то самое, что «гвоздь и панихида»... И все же... Невозможное человеку, возможно Богу.

Этим нечувствием, несомненно, и объясняется тупое молчание этих господ в ответ на «арфу серафима», здесь зазвучавшую из-под пальцев, до сих пор знавших лишь помазок — даже не кисть — окунутый в черную краску.

Несчастливая, втоптанная в самую гущу и глубину житейской грязи и мерзости Аннинька, уже совсем больная, почувствовала, что не все погибло в жутком, а теперь ставшем на путь духовного обновления дяде, что в нем немеркнущей красотой засияла, казалось бы, совершенно убитая, но ныне под воздействием благодати *подлинного покаяния воскресшая любовь*, подобная воскресшему Лазарю, смердящему и четверодневному.

«— Дядя, вы добрый? Скажите, вы добрый? — почти криком кричала она.

Прерывающимся голосом среди слез и рыданий твердила она свой вопрос, тот самый, который она предложила еще в день, когда, после странствия, окончательно вернулась для водворения в Головлевке, и на который в то время он дал такой нелепый ответ.

— Вы добрый? Скажите, ответьте, вы добрый?» (стр. 444).

На это последовал ответ, показавший, что Порфирий Владимырьч окончательно и подобно евангельскому блудному сыну «пришел в себя» (Лук. 15, 17) и что прочно приставшая к нему личина лицемерия, ханжества и пустословия окончательно сошла. Вместе с тем это несомненное свидетельство в пользу того, что, приближаясь к земному своему пределу, большой мастер пера тоже пришел в себя, что крещальные воды не были с него окончательно снесены красной

мерзостью, что в его душе они опять потекли чистой прозрачной струей источника текущего в жизнь вечную.

«— Слышала ты, что на всенощной сегодня читали? — спросил он, когда она, наконец, затихла. — Ах, какие это были страдания! Ведь только такими страданиями и можно... И простил, всех навсегда простил!

Он опять начал большими шагами ходить по комнате, убиваясь, страдая и не чувствуя, как лицо его покрывается каплями пота» (там же).

Как это все символично! В виду уже близкой кончины для Порфирия Владимирыча наступала и его собственная спасительная Гефсиманская ночь.

«— Всех простил, — вслух говорил он сам с собою. — Не только тех, которые тогда напоили Его оцтом с желчью, но и тех, которые и после, вот теперь, и впредь, и во веки веков будут подносить к Его губам оцет, смешанный с желчью... Ужасно! Ах, это ужасно!

И вдруг, остановившись перед ней, спросил:

— А ты... простила?

Вместо ответа она бросилась к нему и крепко его обняла.

— Надо меня простить! — продолжал он. — За всех... И за себя... и за тех, которых уже нет... Что такое? Что такое сделалось?! — почти растерянно восклицает он, озираясь кругом, — где *все*? где *все*?» (стр. 445).

Это восклицание здесь звучит вполне полновесно и универсально, именно универсально и всемирно. Трагедия и трагический лизис, совершающиеся в далеко заброшенной, миру неведомой и многогрешной Головлевке, приобретают *вселенский смысл*... И каждый из нас ввиду собственных грехов, причиненных иссякновением, оскудением любви, ввиду бесчисленных грехов, где вперемежку лежат жертвы и палачи и где сплошь и рядом одно и то же лицо есть и жертва и палач, может воскликнуть — по-«*федоровски*» — то есть с сознанием долга активного участия в воскрешении убиенных и умученных (ибо ненасильственной смерти не бывает, — это И. Ф. Федоров очень хорошо и раз навсегда понял):

— Где... *все*?

Пусть все поругано веками преступлений,
Пусть незапятнанным ничто не сбереглось,
Но совести укор сильнее всех сомнений —
И не погибнет то, что раз в душе зажглось!¹²

Час искупления и спасения пробил! И какой хороший, символический час! — В ночь «Святых и спасительных страстей Господа Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа».

«Измученные, потрясенные, разошлись они по комнатам. Но Порфирию Владимирычу не спалось. Он ворочался с боку на бок в своей постели и все припоминал, какое еще обязательство лежит на нем?»

Это — несомненный признак вполне пробудившейся совести, которая уже больше никогда не заснет.

«И вдруг в его памяти совершенно отчетливо восстановились те слова, которые случайно мелькнули в его голове часа за два перед тем: “Надо на могилку к покойнице-маменьке проститься сходить... При этом напоминании ужасное, томительное беспокойство овладело всем существом его...”»

Это значит, что на почве благодатно-покаянного очищения для него стали доступны голоса потусторонние, где голос совести совпадал с призывом покойной матери. Противиться призыву этих голосов для того, у кого «сокровенный сердца человек» (*homo absconditus*) вполне проснулся, — невозможно...

«Наконец он не выдержал, встал с постели и надел халат. На дворе было еще темно и ниоткуда не доносилось еще ни малейшего шороха. Порфирий Владимирыч некоторое время ходил по комнате, останавливался перед освещенным лампадкой образом Искупителя в терновом венце и вглядывался в него» (там же).

Наконец, для него стало ясно, что голос совести в глубинах духа — это голос Самого Богочеловека и Искупителя. Невозможно противиться воле Божией о нас, когда в согласии с нашей свободой раздается Его властное «Я так хочу»!

«Наконец, он решил. Трудно сказать, насколько он сам признавал свое решение, но через несколько минут он, крадучись, добрался до передней и щелкнул крючком, замыкавшим входную дверь».

Призыв Искупителя Богочеловека взять свой крест и следовать Ему услышан и твердо исполняется.

«На дворе выл ветер и крутилась мартовская мокрая мятелица, посылая в глаза целые ливни талого снега. Но Порфирий Владимырьч шел по дороге, шагая по лужам, не чувствуя ни снега, ни ветра и только инстинктивно запахивая полы халата» (стр. 446).

Настала для покаявшегося и его Великая Суббота:

«На другой день, рано утром, из деревни, ближайшей к погосту, на котором была схоронена Арина Петровна, прискакал верховой с известием, что в нескольких шагах от дороги найден закоченевший труп головлевского барина» (там же).

Конкретная тайна последнего вздоха каждого человека есть его тайна и тайна Божия. Но тем, кто способен расслышать шепот вечности еще до того, как он будет вынужден слышать ее громы, ясно слышатся здесь слова Евангелия о радости на небе о кающемся грешнике, которая больше, чем радость о многих праведниках, не нуждающихся в покаянии.

Большая русская литература в самом тяжелом и черном месте своем не выдала себя и показала себя тем, что составляет основное ее призвание: быть голосом Божиим и голосом богочеловеческой совести, как бы низко ни пал человек.

Но много ли тех, которые этот голос услышали и в которых он отозвался?

